

Аманда Михалопулу

Отец и собака

Аманда Михалопулу – участница Международного литературного фестиваля в Одессе в 2016 году. Именно ей была оказана честь – предоставлено право выступить с программным эссе на открытии фестиваля. Уезжая из Одессы, греческая писательница предложила нашему альманаху этот свой рассказ.

Я встретила своего отца возле Потсдамской площади через три года после его смерти. По утрам я ходила в библиотеку берлинского культурного центра «Культурфорум». Ровно в девять двери открывались, и каждый раз я готова была побиться об заклад, что смогу занять отдельный столик у окна, расположенный прямо за местом дежурного библиотекаря. На столе стояла табличка, гласящая: «Библиотекарь», – но я никогда никого там не видела. Дежурный служащий лишь изредка появлялся, толкая перед собой тележку со сданными книгами, и снова исчезал.

Я торопилась побыстрее войти в библиотеку, сдать в гардероб перчатки и шапку и нырнуть в читальный зал с книгами по искусству. Первым делом нужно было повесить пиджак на спинку стула. Только тогда, закрепив таким образом свои права на этот стол, я отправлялась в туалет или к кофейному автомату – бросить евро в обмен на чашку кофе.

На обратном пути я уже издалека начинала с гордостью оглядывать свое место. Спрятанный за библиотечными шкафами, удаленный от длинных монастырских столов, где теснились студенты, словно ученые монахи, часами сидевшие над своими бумагами, мой стол ждал меня.

Белокурая девушка, с которой мы когда-то соперничали в борьбе за этот стол возле окна, сидела, как обычно, в большом читальном зале и смотрела на меня с обидой. Она выглядела хрупкой и печальной. Сначала она упускала свой шанс из-за того, что шла в туалет или слишком долго задерживалась у кофейного автомата, пытаясь найти монеты на дне сумки. А потом с этой девушкой, скорее всего, произошло то, что случается со всеми людьми, когда они постоянно переживают неудачу: она уверовала, что стол у окна по праву принадлежит мне.

Что ж, тем лучше. Я всегда получала книги, необходимые мне для работы (в то время никого не интересовали чепчики Шардена, палитра Фрагонара или отрезанная голова Караваджо), а если какая-то из них уже была на руках, легко заменяла ее другой.

Наконец я закончила со своими заметками. Теперь для вдохновения и тренировки мне нужны были только портреты.

Поворачивая с Потсдамской на улицу Герберта фон Караяна, я увидела отца. На поводке он вел нашу собаку, Сергея, которого еще десять лет назад был вынужден бросить на горе Пендели. Сергей сошел с ума и начал кусать нас. В последний раз он прокусил мне локоть. Пока мы ехали до больницы, лоскут кожи и мясо свисали с руки так, что была видна кость. Когда врачи наложили швы, мы приняли решение. Отец отвез собаку на гору. Там он подальше зашвырнул палку, Сергей бросился за ней, чтобы принести обратно, отец сел в машину и повернул ключ зажигания. Должно быть, ему было трудно. Мой отец не бросал никого и никогда. До самой своей смерти, конечно.

Я была уверена, что это он, и не только из-за собаки. В течение двух лет учебы в аспирантуре я непрерывно изучала автопортреты художников. Сатир Шиле, женщина-олень Фриды Кало, Гойя, которого поддерживает его лечащий врач. Диссертация, которую я готовила к защите, пока носила рабочее название «Портрет и псевдопортрет – изобретение личности». Я изучала исследования по психологии, феноменологии, неврологии, посвященные вопросам проекции, фиксации и изобретения самого себя.

Отец был примерно в десяти метрах от того места, где я застыла. Он шел по другой стороне улицы, засунув руки в карманы

анорака цвета хаки, точно так же, как делал, когда был жив. Под курткой – пуловер, который моя мать купила ему на последний день рождения, желтый лакостовский свитер с узором из кос. Те самые бежевые вельветовые брюки с отвисшими коленями. Его ботинки были мне как будто незнакомы. Только перейдя на ту сторону, не зная еще, что и как ему скажу, я вспомнила его любимые бежевые ботинки «Себаго». Мать хотела их выбросить. Но он сказал ей: «Если поменять шнурки, будут как новые».

Я подошла вплотную. Он яростно смотрел на горизонт своими маленькими глазками, словно желая содрать с него шкуру. Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы подойти к нему и преградить дорогу, но за эти мгновения я успела заметить, что он нервно засопел и начал откашливаться. Это был тот сухой звук, то «кхмм», который мог издать только мой отец. Длинные бакенбарды, косматые брови. Его волосы толком не поседел, но он причесывал их так по-стариковски, словно давным-давно поседел, – отец был точь-в-точь таким, как я его помнила. Сергей наострил уши и зарычал – все как всегда. Я так и не увидела его в последний раз. Но зато отца – да: я поцеловала его ледяной лоб, а затем гроб опустили в могилу. Сначала я плакала подолгу, потом чуть меньше и, наконец, вернулась к своей прежней жизни. Мне никогда не встречались привидения или тени, ко мне не приходили вещие сны. А теперь он идет навстречу и даже не смотрит на меня. И это было понятно: мир моего отца недоступен для нас, оставшихся здесь.

«Папа», – проговорила я.

Между нами был только один шаг, да что там – полшага, и если бы не его исключительная реакция, он наступил бы мне на ногу. Отец посмотрел с недоумением. Сергей обнюхивал меня и скулил.

«Папа, – снова сказала я. – Ради всего святого... что, что это такое?»

Он пробормотал что-то по-немецки. Это был именно его голос. Он говорил на немецком лучше меня, хотя я шесть лет учила этот язык в университете.

Мой отец не знал немецкого. Вспоминая о второй мировой войне, он произносил слова, которые выучил за время Оккупации,

с ужасным акцентом. Отец и его друзья, измученные ненавистью и голодом, разрывались между двумя полюсами бытия: они резали шины немецких грузовиков и в то же время выпрашивали «айн бисьен брот» – «немного хлеба» – у немецких солдат. Папа говорил, что не держал зла на немцев, что люди меняются к лучшему. Чтобы доказать это, он навещал меня в Берлине в первые годы моей учебы. Его восхищало все: тротуары, липы, соборы, парки и деревянные игровые площадки для детей.

«Папа», – пыталась сказать я, но голос изменил мне.

Отец спросил меня по-немецки, все ли со мной в порядке. Я смотрела на него, не отрываясь, пытаюсь найти хоть что-то, что было бы не так. На щеке у него была все та же приплюснутая родинка, на безымянном пальце – его обручальное кольцо.

«Как это у тебя получилось?» – спросила я его снова, на этот раз по-гречески. А он поинтересовался, не нужна ли мне помощь. «Да, нужна, конечно. Я хочу понять, как вообще это возможно, как ты это делаешь». «Это же Сергей», – добавила я уже по-немецки.

«Вы его знаете?» – спросил мой отец.

Я бросилась ему на шею. Обняла его, вдохнула аромат лосьона после бритья в ямке возле шеи. Я знала этот аромат, и мне так хотелось, чтобы это мгновение длилось еще немного, и разговоры были не нужны. Отец решительно оттолкнул меня, но я все поняла и без его участия, и без напоминания Сергея, который начал угрожающе рычать. Я отстранилась. Мне было очень хорошо известно, на что способна наша собака.

Папа в отчаянии опустил руки. Он смотрел на меня так, словно я ненормальная. Я отступила назад, но, отходя, не отрывала от него взгляда. Он чуть склонился вправо, словно по-прежнему тащил рабочий портфель. Как, как у него это получилось? Он вышел из могилы и заглянул домой за одеждой? А затем поднялся на гору Пендели и нашел Сергея? Почему он оказался здесь и жил рядом со мной, в Берлине? Отец говорил, что ему нравится этот город. Должно быть, он любил и меня – по-своему. Здесь мы вместе ходили в оперу – напряжение было почти невыносимым, но нам не нужны были слова. Должно быть, он быстро выучил язык и жил в какой-то маленькой квартирке, смотря телевизор и питаясь по-спартански.

Кому я могла бы рассказать об этом, чтобы меня не сочли сумасшедшей? Надо было сфотографировать его на мобильный, тогда у меня, по крайней мере, было бы доказательство. Я вышла на Потсдамскую улицу. Отец и Сергей исчезли. Я побежала, крича и пытаюсь дозваться их. Прохожие смотрели на меня с изумлением. Когда посреди европейских площадей с их морозным воздухом раздается пронзительный крик, кажется, будто кто-то снимает фильм, всегда один и тот же. Люди растворяются в толпе, за ними следуют другие, и в фильме те, кто исчез, никогда не возвращаются. Поэтому и музыка всегда печальна, или ее нет вообще.

С поникшей головой я вернулась в библиотеку. Проходя мимо окна, я подняла глаза и увидела ту белокурую девушку. Она сидела на моем месте. Книги лежали в беспорядке, а ее улыбка была полна торжества.

Греция

